

**Читальня
Михаила Елизарова**

Михаил Елизаров

ЗЕМЛЯ



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ

Издательство
АСТ
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Е51

Макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Оформление переплёта ВИКТОРИИ ЛЕБЕДЕВОЙ

Иллюстрация “Momentum More” ТАНИ МИЛЛЕР

ТЕКСТ ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ

Елизаров, Михаил Юрьевич.

Е51 Земля : [роман] / Михаил Елиزارов. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. — 781, [3] с. — (Читальня Михаила Елизарова).

ISBN 978-5-17-118544-2

Михаил Елиزارов — автор романов “Библиотекарь” (премия “Русский Букер”), “Pasternak” и “Мультики” (шорт-лист премии “Национальный бестселлер”), сборников рассказов “Ногти” (шорт-лист премии Андрея Белого), “Мы вышли покурить на 17 лет” (приз читательского голосования премии “НОС”).

Новый роман Михаила Елизарова “Земля” — первое масштабное осмысление “русского танатоса”.

“Как такового похоронного сленга нет. Есть вульгарный прозекторский жаргон. Там поступившего мотоциклиста глумливо величают «космонавтом», упавшего с высоты — «десантником», «акробатом» или «икаром», утопленника — «водолазом», «ихтиандром», «муму», погибшего в ДТП — «кеглей». Возможно, на каком-то кладбище табличку-временку на могилу обзовут «лопатой», венки — «кустом», а землякопа — «кротом». Этот роман — история Крота” (Михаил Елизаров).

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-118544-2

© Елизаров М.Ю.
© ООО “Издательство АСТ”

ЗЕМЛЕКОП

Земля пахнет родителями.

А. Платонов

*Нет стариннее дворян,
чем садовники, землекопы
и могильщики; они продолжают
ремесло Адама.*

Ты славно роешь, старый крот!

У. Шекспир, "Гамлет"

Родился я в городе Суслов, ныне Алабьевск. Город был тогда полузакрытый, с каким-то военным производством. Отец работал в НИИ, а мать, бывшая отцовская лаборантка, находилась в декретном отпуске.

В памяти мало что сохранилось. Помню похожий на айсберг холодильник, по которому карабкается, скользит мой карликовый взгляд. Вот игрушечный совок, в его сияющей алюминиевой полусфере нежится желток пойманного солнечного луча. За окном на проволочной петле кормушка, фанерный парфенон: крыша конусом, днище да четыре рейки-колонны. Топчется голубь пепельного окраса — косится на меня. Стол и веточка смородины в блюде, каждая ягода точно вытарашенный голубиный глаз. Дворовые качели — пара растрескавшихся брёвен и железная труба-перекладина. Дальше изображение тускнеет, и качели уже не видятся, а слышатся: поскрипывают ржавыми петлями...

Собранные вместе, эти воспоминания составляют портрет того времени. Рамка у портрета овальная, ведь овал — фигура прошлого. Мать настолько повсюду, что её не увидеть. Отец вообще находится за границами “овала”. Возможно, он гвоздь, стержень, на который прикреплён этот ранний суловский период.

После громкого служебного конфликта мы спешно покинули Сулов. Позже мне озвучили семейную версию былой драмы. Я узнал, как отец восстал против кумовства в науке, как в неравной борьбе был повержен и оклеветан. На беду приключилось возгорание, кто-то из сотрудников лаборатории серьёзно пострадал. Всплыли вдруг и хищения, к которым отец, разумеется, не имел ни малейшего отношения. Чтобы избежать уголовной ответственности, он уволился, потеряв при этом служебную квартиру.

Сначала наша семья перебралась в Ленинград. Полгода мы прожили в общежитии при каком-то ЦНИИ. Вскоре выяснилось, что на новом месте тоже не клеится. Ещё не остывшее правдоискательство отца раздраконило институтское начальство, и мы снова бежали.

Ленинград запомнился мне гулким сумеречным коридором, похожим на исполинский пушечный ствол. В застеклённом жерле ствола брезжит бледный северный свет, я с размаху шлёпаю о клетчатый кафельный пол резиновым мячом, и по стенам звонкой блохой скачет эхо...

Потом один за другим пошли новые города. Точно неведомый враг ополчился на нашу семью, и под его натиском мы отступали, как разбитая армия. Меня эти мытарства мало беспокоили, но мать, как я понимаю, ужасно переживала от бытовой неустроенности. В Новгороде, третьем по счёту городе, который нам выпало покинуть, она даже отважилась на разнос и прокричала отцу, что ей осточертела цыганская жизнь и нужен “собственный угол”. Я, воспринимая этот “угол” как наказание, взмолился:

— Мамочка, не надо нам в угол!

Отец, уже готовый вспылить, вдруг развеселился:

— Устами младенца глаголет истина. Обойдёмся без своего угла!..

Детская память — неумелый фотограф. В этой знаменательной сцене у отца, как на скверном любительском снимке, нет головы — просто не попала в кадр. А вот мать вышла хоро-

шо: страдальческий поворот головы, разметавшиеся волосы, выразительно заломленные руки. И снова овальная рамка. Я просто не держу других рамок — одни овалы...

Вскоре отец посадил меня и мать на московский поезд. Сам он собирался путешествовать на грузовике вместе с пожитками.



Помню, как поразил моё камерное воображение детский сад, куда меня пристроили почти сразу после переезда в Москву. Просторное, даже не светлое, а пересвеченное помещение. На полу разбросаны книжки. На твёрдых, точно куски дерева, обложках изображения аляповатых животных: медвежата, зайчата. Разномастные кубики, грузовички. Кукольный лом, мамкающие калеки без рук-ног.

Меня обступили чужие дети. Воспитательница, точно наседка, откладывает квохчущие круглые слова: “Кто-о-о?.. Это-о-о?.. Тако-о-ой? Пришё-о-ол?..”

Я, заранее обученный собственному имени-фамилии, отвечаю: “Во-о-ова Кро-о-отышев”. Слышится ехидный шепоток: “У него тапочки, как у бабушки...” — я утыкаюсь взглядом в пол. Тело обдаёт жаром первого стыда. У меня именно такая — шаркающая, старушечья обувь.

Обед. Суп кишит разваренным луком и капустой. За едой надзирает толстая нянечка. У неё малиновые, как снегири, щёки. Когда она отворачивается, я вылавливаю тошную гущу, пальцами отжимаю и прячу в нагрудный кармашек. На вечерней прогулке я тайком выбрасываю слипшиеся варёные комья под куст. В какой-то из обедов меня предаёт малолетний сосед по имени Рома — мои афёры с суповой начинкой становятся всеобщим достоянием.

Поставленный нянечкой в угол, я плачу, горячее сердце бьётся прямо в подмокшем кармашке, а потом оно холодеет вместе с капустой и луком, стынет — моё сердце.

Тихий час длится целую вечность, заснеженно-белую, как потолок. Меня окружает усыпальница на четыре десятка кро-

ватей — уложены младшая и средняя группы. Мне кажется, что все они спят мёртвым сном. Бодрствую только я. И моя бессонница больше и значительней их коллективного забытья.



Тогда же появляется первое в моей жизни кладбище. Пока ещё игрушечное, точно пособие для детей младшего дошкольного возраста, — макет грядущего взрослого кладбища.

Как её звали, ту девочку?.. Лида?.. Лиза?.. Худенькая, обстоятельная, с тощими русыми косицами. В свои пять лет эта Лида-Лиза уже была настоящим знатоком похоронного дела.

Под угрюмое развлечение она отвоевала удобную песочницу. И сама выбрала тех, с кем будет играть. Не знаю, чем я ей приглянулся. В четыре года таинство погребения для меня ограничивалось считалкой про попа и собаку: “Вырыл ямку, закопал и на камне написал”. А Лида-Лиза просто подошла ко мне и сказала:

— Идём, ты будешь у нас копать.

И я пошёл. Даже не подозревая, во что ввязываюсь. А после сбежать не получалось. Лида-Лиза не отпускала. Она в совершенстве владела женским мастерством — не отпускать...

Мертвецкий контингент импровизированного кладбища был в основном народ военный — жуки-солдатики, которых исправно поставлял Лиде-Лизе её хмурый, деятельный помощник Максим. Попадались, конечно, мухи и пчёлы. Но главным покойником, украшением кладбища, был дохлый мышонок. Его погребла лично Лида-Лиза — похоронный долг и призвание оказались сильнее извечного женского страха перед грызуном, пусть даже и бездыханным.

Каждый из сотрудников кладбища был занят своим делом. Максим поставлял покойников, я копал могилы, а предатель Ромка — он тоже чем-то глянулся Лиде-Лизе — мастерил гробы из фантиков.

На памятники шли щепки, мелкие камни, стёклышки. Была приглашённая “родня” — три послушные плакальщицы из младшей группы. Они голосили заранее составленный Лидой-Лизой текст. Что-то вроде: “Ой, бедненький жучок! Почему ты не бе-

жишь, лапками не шевелишь?!” Имелся прейскурант услуг: панихида, поминальный стол. А сама Лида-Лиза была директором игры: следила за регламентом похорон, управляла, наставляла.

На второй день после открытия кладбища она велела нам наломать веточек и обозначить границу зелёными насаждениями. Я под присмотром Лиды-Лизы прокопал водоотводы, чтобы дождь не размыл захоронения. У нас был хозяйственный блок — перевёрнутый кузов грузовичка, где хранились совок и материалы для постройки надгробий — камушки, щебёнка. За это отвечал Рома. Думаю, если бы нам позволили спички, Лида-Лиза организовала бы и постройку миниатюрного крематория.

Поначалу в нашу песочницу рвались малолетние вандалы, желавшие построить на месте мёртвого царства дороги и магистрали. Но Лида-Лиза умела так посмотреть на жизнерадостного автолюбителя, что тот с рёвом бежал жаловаться.

И вот однажды к нам пришла воспитательница — разобратся в слезах и прекратить мрачную игру. Сказала:

— Я вот сейчас ваше безобразие ногой подавлю! — занесла тяжёлую сокрушающую ступню, чтобы сравнять с песком наши могилы и склепы...

Сквозь годы я слышу крошечный Лиды-Лизин голосок. Маленький человек, пятилетняя девочка, требует уважения к смерти и праху. Говорит спокойно, с таким достоинством.

Я не помню конкретных слов, но общий смысл был именно такой — уважение к мёртвому миру! Смерть не прощает кощунства, даже если оно творится на территории игрушечного кладбища! Вот что говорила Лида-Лиза — только простыми детскими словами.

И воспитательница оторопела, отступилась. Я как сейчас вижу её багровое, точно остановленное на бегу лицо — стоп-кадр акрилового фотоовала...

Уверен, под руководством Лиды-Лизы насекомых некрополь продержался до холодов, а может, пережил и зиму. Но эти подробности мне неизвестны. В начале октября я подхватил двустороннюю свинку и до ноября пролежал в кровати. Потом в детском саду началась эпидемия краснухи. А когда зараза пошла на убыль, у отца не заладилось и с Москвой.



Я научился предугадывать сроки каждого нового переезда. Примерно за полторы-две недели родители приглушёнными голосами заводили однотипный разговор. Я слышал прерывающееся слезами материно:

— Серёжа, если тебе плевать на меня, то подумай о ребёнке!..

И негодующий змеиный шёпот отца:

— Маш-ша, неуш-ш-шели ты хочеш-ш-шь, чтобы они сделали из меня посмеш-ш-шищ-ще!..

Фантазия рисовала мне бесноватый цирк, взрывы издевательского хохота: на арене, усыпанной опилками, корчится от стыда мой бедный отец, он наряжен в дурацкие цветные одежды, на лице его кричащий клоунский макияж — из него опять сделали посмеш-ш-шищ-ще...

Из Москвы мы двинулись в Белгород, где отцу предложили учительскую должность в техникуме. И снова был поезд. Наше купе находилось в конце вагона. Отец давал какие-то наставления матери, а рядом, в тамбуре, пахнущем табачным перегаром, шумно харкало невидимое существо. Мне казалось, что это Москва так прощалась с нами, смачно плевала вслед...

В Белгороде мы пробыли около полугода. Вместо детского сада меня сдали под присмотр нашей квартирной хозяйке. Если быть точным, то была не квартира, а частный дом, его половина, где жила баба Тося, у которой мы сняли комнату.

Баба Тося была уже совсем ветхая, хотя я тогда не осмысливал глубины возраста. Голубоглазенькая, лёгкая старушка. На голове светлый платочек. В моих воспоминаниях она смотрит на меня из распахнутого майского окна. Солнечная прямоугольная рамка аккуратно вписана в надгробный овал...

С бабой Тосей мне жилось хорошо. Супы она готовила без склизкой луковой гадости и, кроме того, никогда не заставляла есть через силу. Чаще всего мы играли в молчанку. Тихая забава начиналась с присказки про цыган, потерявших кошку: “Кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит слово, тот

её и съест”. Мы по несколько часов кряду сидели и молчали, пока соседка не обращалась к бабе Тосе с какой-нибудь фразой и не “съедала” под наш дружный смех кошку.

Ещё баба Тося водила меня в церковь, что стояла неподалёку от её дома. Помню, мне эта церковь неизменно представлялась огромным каменным яйцом, внутри которого всегда царил сумрак, полный крошечных светляков.

Мне в церкви больше нравились изображения витязей, протыкающих чешуйчатых горынычей тонкими копьями. А баба Тося предпочитала бормотать возле скучных стариков и пригорюнившихся женщин. Время от времени я вежливо уточнял: “Поговорила?” — а баба Тося улыбалась.

Но самым главным в церкви был, конечно, Бог. Или “Боженька” — так его ласково называла баба Тося. Он мог быть голубем, младенцем, сердитым заоблачным стариком. Боженька в виде мужчины с девичьими волосами умирал в городе Киеве на кресте. Поэтому главная улица там называется Крещатик...

Я уточнял:

— Боженьку закопали? У него есть могилка?

А баба Тося отвечала:

— Нет, мой хороший. Боженька воскрес, поэтому у него нет могилки. Но однажды все, кто умерли, оживут, и боженька их будет судить...

Услышав от меня историю о боге с Крещатика, отец расสวิрепел. Точно скрытый грозowymi тучами, откуда-то сверху он гневно восклицал:

— Отлично! Значит, бог есть! Да? На Крещатике? — Я, перепуганный, кивал, принимая мученический шлепок по заду. — Ну, а теперь, как ты считаешь, есть бог?!

Я слёзно выкрикивал:

— Да! Да!.. — и с рёвом бежал под мамину защиту.

Помню, отец перед сном ещё долго возмущался, собираясь устроить “старой дуре” грандиозный разнос, дескать, он не позволит развращать церковными бреднями ребёнка. Мать с трудом уgomонила отца, пообещав ему поговорить с бабой Тосей.